# Вкусивший нирваны

# Уильям Сомерсет Моэм

Люди в большинстве, — собственно говоря, в подавляющем большинстве, —ведут ту жизнь, которую им навязывают обстоятельства, и хотя некоторые тоскуют, чувствуют себя не на своем месте и думают, что обернись все иначе, так они сумели бы себя показать, прочие же, как правило, приемлют свой жребий если не безмятежно, то покорно. Они подобны трамваю, который вечно катит по одним и тем же рельсам. И они неизменно движутся взад-вперед, взад-вперед, пока в силах, а потом идут на слом. И не так часто встречаешь человека, который сам смело определил ход своей жизни. Если вам подобная встреча выпадет, к такому человеку стоит присмотреться получше.

Вот почему мне было любопытно познакомиться с Томасом Уилсоном. Он поступил необычно и смело. Разумеется, эксперимент еще не кончился, а до тех пор судить о его успешности не приходилось. Но то, что мне довелось о нем услышать, рисовало его в необычном свете, и я решил, что с ним стоит познакомиться. Меня предупредили, что он очень замкнут, но терпение и такт, казалось мне, в конце концов обязательно побудят его выбрать меня в наперсники. Я хотел услышать всю историю из его собственных уст. Люди преувеличивают, они склонны романтизировать, и я был готов к тому, что его история окажется далеко не такой особенной, как меня уверяли.

И впечатление это подтвердилось, когда я наконец с ним встретился. Это было на пьяцце в Капри (я проводил там август на вилле друга) и незадолго до заката, когда почти все обитатели городка — и туземцы и иностранцы —собираются там поболтать с приятелями в вечерней прохладе. Одна терраса выходит на Неаполитанский залив, и когда солнце медленно опускается в море, остров Искья вырисовывается темным силуэтом на фоне многоцветного сияния. Это одно из самых прекрасных зрелищ в мире. Я стоял, созерцая его, рядом с моим другом и хозяином, как вдруг он сказал:

— Поглядите, вон Уилсон.

— Где?

— Сидит на парапете спиной к нам. В голубой рубашке.

Я увидел ничем не примечательную спину, небольшую голову, короткие, довольно жидкие, седые волосы.

— Вот если бы он обернулся! — сказал я.

— Обернется через минуту-другую.

Мгновение ошеломляющей красоты миновало. И солнце макушкой апельсина погружалось в винно-багряное море. Мы повернулись и, прислонясь к парапету, смотрели на людей, которые прогуливались взад и вперед, оживленно разговаривая. Веселая многоголосица бодрила и радовала, а тут еще зазвонил церковный колокол, заметно надтреснутый, но тем не менее звучный и гулкий. Пьяцца в Капри, где башенка с часами осеняет пешеходную дорожку, поднимающуюся от порта, и широкие ступени ведут выше к церкви, выглядит идеальной декорацией какой-нибудь опере Доницетти: так и кажется, что говорливая толпа вот-вот преобразится в поющий хор. Все было пленительным и нереальным.

Это зрелище меня поглотило, и я не заметил, что Уилсон спрыгнул с парапета и направился в нашу сторону. Когда он проходил мимо, мой друг его окликнул:

— А, Уилсон! Последние дни вас что-то на пляже не видно.

— Перемены ради я купался за мысом.

Мой друг познакомил нас. Уилсон пожал мне руку — вежливо, но безразлично. В Капри на несколько дней или недель приезжает множество людей, и, естественно, он постоянно знакомился с кем-то, кто только что приехал и завтра уедет. Затем мой друг пригласил его пойти с нами выпить.

— Но я иду домой ужинать, — сказал он.

— А ужин подождать не может? — спросил я.

— Наверное, может, — улыбнулся он.

Зубы у него были довольно скверными, но улыбка — очень приятной. Мягкой и доброй. На нем была бумажная рубашка и серые брюки из тонкого холста, мятые и не слишком чистые, а на ногах — старенькие сандалии. Облачение это выглядело очень живописно и подходило и к месту и к климату, но не вязалось с его лицом — морщинистым, вытянутым, черным от загара, тонкогубым, с небольшими, близко посаженными серыми глазами и правильными мелкими чертами. Лицо не то чтобы невзрачное — в молодости Уилсон, возможно, был даже красив, — но чопорное. Голубая рубашка была расстегнута на груди, а серые холщовые брюки он носил так, словно они ему не принадлежали, но потерпев кораблекрушение в одной пижаме, он вынужден был надеть то, чем его снабдили добрые люди. Даже в таком прихотливом костюме он выглядел, как управляющий отделением страхового общества, которому положено носить черный сюртук с темно-серыми брюками, белый воротничок и галстук неяркой расцветки. Мне даже представилось, как я прихожу к нему получить страховые деньги за потерянные часы и, отвечая на его вопросы, все больше чувствую себя угнетенным его несомненным, несмотря на безупречную вежливость, убеждением, что люди, предъявляющие подобные претензии, либо дураки, либо мошенники.

Мы неторопливо пошли вместе по пьяцце и дальше по улице до «У Моргано». И сели в саду. Вокруг нас другие посетители разговаривали по-русски, по-немецки, по-итальянски и по-английски. Мы заказали выпить. Донна Лючия, супруга хозяина, вперевалку подошла к нашему столику и низким мелодичным голосом пожелала нам доброго вечера. Уже в годах и дородная, она все еще сохраняла остатки той несравненной красоты, которая тридцать лет назад заставляла художников писать столько скверных ее портретов. Глаза, большие и томные, были глазами волоокой Геры, а улыбка — ласковой и любезной. Мы, трое, некоторое время болтали о том о сем — в Капри все время разыгрываются скандалы и скандальчики, давая пищу для таких разговоров, но ничего интересного сказано не было, и вскоре Уилсон попрощался и ушел. А мы не спеша побрели на виллу моего друга ужинать. По дороге он спросил меня, как мне показался Уилсон.

— Никак, — сказал я. — По-моему, в вашем рассказе нет ни слова правды.

— Почему?

— Он не такой человек, чтобы поступить так.

— Как знать, на что бывает способен человек?

— Я определил бы его, как абсолютно нормального, ушедшего на покой дельца, который живет на проценты с капитала, помещенного в государственное бумаги. Мне кажется, история, которую вы мне рассказали, обычные каприйские сплетни.

— Ну, пусть так, — сказал мой друг.

Обычно мы отправлялись купаться на пляж, который назывался «Бани Тиберия». Брали извозчика, оставляли его у поворота дороги и шли напрямик через лимонные рощи и виноградники, звенящие цикадами, напоенные жарким запахом солнца, до края обрыва, откуда тропинка крутыми петлями спускалась к морю.

Дня через два, когда мы были уже почти внизу, мой друг сказал:

— А! Уилсон снова здесь.

Похрустывая галькой, мы пошли по пляжу, единственным недостатком которого было отсутствие песка. Уилсон увидел нас и помахал рукой. Он стоял, выпрямившись, с трубкой в зубах, одетый только в трусы. Тело у него было темно-коричневым и худощавым, но не худым, и по контрасту с морщинистым лицом и седыми волосами выглядело почти молодым. Разгоряченные ходьбой, мы быстро разделись и кинулись в воду. В шести футах от берега она была глубиной в тридцать футов, но такой прозрачной, что было видно дно. Хотя и теплая, она бодрила и освежала.

Когда я выбрался на берег, Уилсон лежал на животе, подстелив под себя полотенце, и читал книгу. Я закурил сигарету, подошел и сел возле.

— Ну как искупались? — спросил он, заложил книгу трубкой, закрыл и опустил на гальку у себя под рукой. Он явно был расположен поговорить.

— Чудесно, — сказал я. — Такого купанья нет нигде в мире.

— Люди, естественно, верят, будто это были бани Тиберия. — Он махнул рукой в сторону бесформенных развалин, частично уходящих в море. — Полная чепуха. Просто одна из его вилл, знаете ли.

Я знал. Но зачем мешать людям, когда им хочется что-то вам рассказать. Если вы позволяете им просвещать вас, они проникаются к вам расположением.

Уилсон засмеялся.

— Забавный старичок, Тиберий. Жаль, что теперь утверждают, будто во всех историях о нем нет ни слова правды.

Он принялся рассказывать мне про Тиберия. Ну, я тоже читал Светония и исторические исследования возникновения Римской империи, а потому ничего особенно нового не услышал. Но я заметил, что он довольно эрудирован, о чем и упомянул.

— Ну, когда я тут обосновался, мне, естественно, стало интересно, а времени читать у меня предостаточно. Когда живешь в месте, где полно всяких исторических ассоциаций, то история как будто приближается к тебе. Как будто ты сам живешь в исторические времена.

Следует сказать, что происходило это в 1913 году. Мир был уютным, благоустроенным местом, и никому в голову не могло прийти, что хоть что-нибудь серьезное может нарушить его тихую безмятежность.

— А вы здесь давно? — спросил я.

— Пятнадцать лет. — Он взглянул на спокойное синее море, и его узкие губы тронула странно-нежная улыбка, — Я влюбился в этот остров с первого взгляда. Полагаю, вы слышали про легендарного немца, который приехал сюда на неаполитанском пароходике просто пообедать и осмотреть Голубой грот, — и остался на сорок лет. Ну, со мной было не совсем так, но в конечном счете свелось к тому же. Только в моем случае сорока лет не будет. Двадцать пять. Но это все-таки лучше, чем ничего.

Я молчал, ожидая продолжения. Из его слов как будто следовало, что необычная история, которую мне рассказали, все-таки опиралась на факты. Но тут из воды, рассыпая брызги, вылез мой приятель, гордясь тем, что проплыл милю, и разговор перешел на другие темы.

Потом я еще несколько раз встречался с Уилсоном — либо на пьяцце, либо на пляже. Он держался дружески и деликатно, всегда был рад поболтать, и я выяснил, что он знает как свои пять пальцев не только весь остров, но и берега Неаполитанского залива. Он много читал о самых разных предметах, однако его специальностью была история Рима, в которой он был весьма осведомлен. Воображением он не отличался и интеллектуально был зауряден. Много смеялся, но сдержанно, и его чувство юмора отзывалось на самые простенькие шутки. Ничем не примечательный человек. Я не забыл его странных слов в нашем первом разговоре наедине, но больше он к этой теме даже косвенно не возвращался. Как-то, вернувшись с пляжа на пъяццу, мы с моим другом, отпуская извозчика, предупредили, чтобы он был готов в пять часов отвезти нас в Ана-капри. Мы намеревались подняться на Монте-Соляро, пообедать в облюбованной нами таверне, а потом спуститься вниз при свете луны. Было полнолуние, и ночные пейзажи отличались необыкновенной красотой. Пока мы отдавали распоряжение извозчику, Уилсон стоял рядом (мы подвезли его, чтобы избавить от необходимости подниматься по жаркой пыльной дороге), и больше из вежливости, чем по какой-либо другой причине, я спросил, не хочет ли он присоединиться к нам.

— Это, собственно, моя экскурсия, — сказал я.

— С большим удовольствием, — ответил он.

Однако к пяти часам мой друг почувствовал легкое недомогание —перекупался, как он сказал, — и долгая, утомительная прогулка его не прельщала. Поэтому я отправился вдвоем с Уилсоном. Мы вскарабкались на гору, полюбовались широким видом и вернулись в гостиницу перед самыми сумерками разгоряченные, счастливые, замученные жаждой. Обед мы заказали заранее. Отличный обед, потому что Антонио был прекрасным поваром, и мы пили вино из его виноградника. Оно было таким легким, что казалось, будто его можно пить, как воду, и мы прикончили первую бутылку за макаронами. Когда мы допили вторую, жизнь представлялась нам великолепной. Мы сидели в садике под толстой лозой, отягощенной гроздьями. Воздух был изумительно мягок. Вечер был тихий, мы были одни. Служанка принесла нам чудесный местный сыр и тарелку инжира. Я заказал кофе и стрегу — самый лучший итальянский ликер. От сигары Уилсон отказался и закурил трубку.

— У нас еще много времени, — заметил он. — Луна поднимется из-за горы не раньше, чем через час.

— Луна луной, — сказал я решительно, — но времени у нас, безусловно, много. В том-то и прелесть Капри, что никуда торопиться не нужно.

— Досуг! — сказал он. — Если бы люди знали. Это самое драгоценное, что только может выпасть на человеческую долю, а они такие глупцы, что даже не знают, к чему им следует стремиться. Работа? Они работают во имя работы. У них не хватает ума понять, что единственный смысл работы — обрести досуг.

Некоторых людей вино соблазняет на общие рассуждения. Его слова были справедливы, но никто не нашел бы их оригинальными. Я промолчал и только чиркнул спичкой, чтобы зажечь мою сигару.

— Когда я в первый раз приехал на Капри, было полнолуние, — продолжал он задумчиво. — Словно и луна была та же, что вот сейчас.

— Она и была та же! — Я улыбнулся.

Он ухмыльнулся в ответ. Сад освещался только керосиновым фонарем, который висел у нас над головой. Слишком тусклым, чтобы было удобно ужинать, но как раз для исповеди.

— Я хотел сказать другое: словно все было вчера. Пятнадцать лет! А когда я оглядываюсь назад, кажется, что и месяца не прошло. Я никогда раньше в Италии не бывал. Приехал в летний отпуск. Пароходом из Марселя до Неаполя. Осмотрел достопримечательности — Помпею, Пестум, еще что-то, а потом отправился сюда на неделю. Остров мне сразу понравился. То есть, я хочу сказать, еще с моря, когда я смотрел, как он приближается. И потом, когда мы спустились в шлюпки и высадились на набережной. Орава вопящих людей: кто хватает твой багаж, кто расхваливает отель. И ветхие домики на набережной, и дорога вверх к отелю, и ужин на террасе — все это околдовало меня. Я просто не понимал, что со мной делается. Я прежде не пил каприйского вина, но я про него слышал и, наверное, немножко перепил. Все ушли спать, а я сидел на террасе, смотрел на луну над морем. А вдали Везувий и багровый столб дыма над ним. Конечно, теперь я знаю, что пил чернила. Каприйское вино, как бы не так! Но тогда мне казалось, что так и надо. Но опьяняло меня не вино, а форма острова, и эти вопящие люди, и луна с морем, и олеандры в саду отеля. Я еще ни разу не видел олеандров.

Это был длинный монолог, и у него пересохло в горле. Он взял свою рюмку, но она была пуста. Я спросил, не выпьет ли он еще стреги.

— Слишком липкая штука. Давайте возьмем бутылку вина. Совсем другое дело: чистый виноградный сок и никому повредить не может.

Я заказал еще вина и, когда его подали, наполнил наши рюмки. Он сделал большой глоток, вздохнул от удовольствия и продолжал:

— На следующий день я отыскал пляж, где мы сейчас бываем. Хорошее купание, подумал я, и пошел бродить по острову. Мне повезло: в Пунта-ди-Тимберио была festa (церковный праздник — прим.автора), и я вдруг увидел процессию. Статуя Пресвятой Девы, священники, служки с кадильницами, а за ними валит толпа веселых, хохочущих, радостных людей, разнаряженных, кто как может. Я там встретил одного англичанина и спросил у него, что тут происходит. «Празднуется День Успения, — сказал он. — Во всяком случае, так утверждает католическая церковь, но, по обыкновению, передергивает. Это праздник Венеры. Чисто языческий, понимаете? Афродита, рождающаяся из морской пены, и все прочее». От его слов мне как-то странно сделалось. Будто вдруг древностью на меня пахнуло, не знаю, как выразить. А потом как-то вечером я пошел поглядеть на Фаральони при лунном свете. Если бы судьба хотела, чтобы я и дальше оставался управляющим банка, так помешала бы этой моей прогулке.

— Так вы были управляющим банка? — спросил я.

Его былого занятия я не угадал, но ошибся не так уж сильно.

— Да. Отделения «Йорк и Сити» на Крофорд-стрит. Мне это было очень удобно, потому что я жил под Хендоном, и дорога от двери до двери брала тридцать семь минут.

Он попыхтел трубкой и снова ее разжег.

— Это был мой последний вечер, да. Утром в понедельник мне нужно было быть в банке. Я смотрел на эти две огромные, встающие из воды скалы, на огоньки рыбачьих лодок, занятых ловлей кальмаров, и все было таким мирным, таким прекрасным, что я сказал себе: а зачем, собственно, мне возвращаться? Ведь не то чтобы я был кому-то нужен. Моя жена умерла от бронхиального воспаления легких еще четыре года назад, а девочку взяла к себе бабушка, мать моей жены. Старая дура толком за девочкой не смотрела, и у нее началось заражение крови. Ей ампутировали ногу, но спасти все равно не смогли, она умерла, бедная малышка.

— Ужасно, — сказал я.

— Да. Мне было очень тяжело, хотя, конечно, меньше, чем если бы она жила со мной. И, может быть, в конечном счете так было лучше. У одноногой девушки что за жизнь? Я и о жене горевал. Хотя не знаю, долго ли бы это продлилось. Она была из тех женщин, кого всегда заботит, что подумают другие люди. Путешествовать она не любила. Ей для отдыха довольно было Истберна. Знаете, я в первый раз побывал на континенте только после ее смерти.

— Но, вероятно, у вас есть родственники?

— Никого. Я был единственным ребенком. У отца был брат, но он уехал в Австралию еще до моего рождения. Думаю, в мире нашлось бы мало таких одиноких людей, как я. И я не видел, почему не могу поступить так, как хочу. Мне тогда было тридцать четыре.

Он уже сказал, что прожил на Капри пятнадцать лет. Следовательно, теперь ему было сорок девять. Примерно столько лет я ему и дал бы.

— Я работал с семнадцати лет. И впереди меня ждало все одно и то же, одно и то же, пока я не уйду на пенсию. И я спросил себя: стоит ли оно того? Почему не бросить все и не провести здесь оставшуюся мне жизнь? Ничего прекраснее я нигде не видел. Но я прошел деловую школу, и я осторожен по натуре. «Нет, — сказал я, — не надо поддаваться влиянию минуты. Я уеду завтра, как собирался, и хорошенько подумаю. Может быть, в Лондоне все будет выглядеть иначе». Идиот я был, верно? Потерял целый год.

— Так вы не передумали?

— Конечно, нет. Все время, пока я работал, я вспоминал купание здесь, и виноградники, и прогулки по горам, и луну, и море, и пьяццу по вечерам, когда все собираются на ней поболтать после трудового дня. Меня только одно смущало: имею ли я нравственное право не работать, как работают остальные люди. И тут мне попалась историческая книга какого-то Мэрьона Крофорда, и там был рассказ о Сибарисе и Кротоне. Это были два города, и в Сибарисе они только развлекались и наслаждались жизнью, а в Кротоне были суровы, трудолюбивы и все прочее. И вот однажды кротонцы обрушились на Сибарис и стерли его с лица земли, а через некоторое время откуда-то явилась какая-то орда и стерла с лица земли Кротону. От Сибариса не осталось ни единого камня, а от Кротоны сохранилась одна колонна. Это для меня все и решило.

— Каким образом?

— Так ведь в конечном счете вышло одно, верно? И если взглянуть теперь, кто больше остался в дураках?

Я не ответил, и он продолжал:

— Все упиралось в деньги. Банк давал пенсию только после тридцати лет службы, но тому, кто уходил раньше, выплачивалось выходное пособие. Его вместе с тем, что я выручил бы от продажи дома, и небольшими сбережениями, которые я умудрился сделать, не хватало для покупки пожизненной ренты. Было бы глупо пожертвовать всем ради того, чтобы вести приятную жизнь, и не располагать деньгами, которые делали бы ее приятной. Я хотел иметь собственный домик, служанку, которая вела бы хозяйство, и достаточно денег на табак, приличную еду, иногда на книги, ну и еще что-нибудь на непредвиденные расходы. Я точно знал, сколько мне нужно, и выяснилось, что денег у меня как раз хватит для ренты на двадцать пять лет.

— Вам тогда было тридцать пять?

— Да. Она обеспечивала меня до шестидесяти. А в конце-то концов еще вопрос, удастся ли дотянуть до шестидесяти. Очень многие умирают на шестом десятке, да и вообще, когда человеку стукает шестьдесят, все лучшее у него так или иначе позади.

— С другой стороны, нельзя же быть уверенным, что обязательно умрешь в шестьдесят.

— Ну, не знаю. Все зависит от самого человека, верно?

— На вашем месте я бы остался в банке, пока не получил бы права на пенсию.

— Мне было бы тогда сорок семь. Я был бы еще не настолько стар, чтобы не получать удовольствия от моей жизни тут (мне ведь теперь уже больше, чем сорок семь, и я наслаждаюсь ею точно так же), но я был бы уже не способен испытывать ту радость, какую дает молодость. Понимаете, и в пятьдесят можно получать от жизни не меньше удовольствия, чем в тридцать. Но оно другое. А я хотел пожить идеальной жизнью, пока у меня еще оставалось достаточно энергии и бодрости изведать ее со всей полнотой. Двадцать пят лет представлялись мне долгим сроком. И за двадцать пять лет счастья, видимо, стоило заплатить чем-то очень весомым. Я уже решил протянуть еще год и протянул, а тогда объявил, что ухожу, подождал, чтобы мне выплатили пособие, тут же купил ренту и приехал сюда.

— Ренту на двадцать пять лет?

— Совершенно верно.

— И вы ни разу не пожалели?

— Ни единого. Я уже получил за свои деньги сполна. А у меня еще десять лет впереди. Согласитесь, после двадцати пяти лет абсолютного счастья следует удовлетвориться и поставить точку.

— Может быть.

Он не сказал прямо, что сделает тогда, но его намерения были очевидны. Примерно так все это уже мне рассказал мой друг, но когда я услышал историю Уилсона из уст его самого, она обрела иное звучание. Я исподтишка покосился на него. Все в нем выглядело заурядным. Никто, глядя на это вполне обыкновенное, чопорное лицо, ни на секунду не заподозрил бы, что он способен на разрыв с общепринятым. Я его не осуждал. Так странно он распорядился не чьей-то, а собственной жизнью, и я не видел причин, почему он не мог поступить с ней, как ему хотелось. И все же по спине у меня пробежала холодная дрожь.

— Озябли? — Он улыбнулся. — Так пойдемте. Луна уже должна подняться высоко.

Когда мы прощались, Уилсон спросил, не хочу ли я посмотреть его домик, и два-три дня спустя, узнав, где он живет, я отправился к нему. Жил он в крестьянской хижине посреди виноградника, довольно далеко от города и с видом на море. У двери рос старый олеандр в полном цвету. Хижина вмещала две комнатушки и крохотную кухоньку, к которой примыкал дровяной навес. Спальня была обставлена как монашеская келья, но гостиная, приятно пахнувшая табаком, выглядела уютной — два покойные кресла, которые он привез из Англии, внушительное бюро с полукруглой крышкой, небольшое пианино и битком набитые книжные полки. На стенах в рамках висели гравюры с картин Д. Ф. Уоттса и лорда Лейтона. Уилсон объяснил, что дом принадлежит владельцу виноградника, который живет в другом доме выше по склону, и его жена приходит каждый день убирать и готовить. Он нашел эту хижину еще в свой первый приезд на Капри, а когда вернулся, снял ее и с тех пор живет здесь. Увидев, что пианино открыто и на пюпитре стоят ноты, я попросил его сыграть что-нибудь.

— Я ведь только бренчу, но музыку люблю и получаю от этого большое удовольствие.

Он сел за пианино и сыграл одну из частей бетховенской сонаты. Играл он не слишком хорошо. Я посмотрел его ноты — Шуман и Шуберт, Бетховен, Бах и Шопен. На столе, за которым он ел, лежала пухлая колода карт.

Я спросил, раскладывает ли он пасьянсы.

— Постоянно.

Благодаря этому визиту и тому, что я слышал от других людей, у меня сложилась, мне кажется, достаточно верная картина жизни, которую он вел пятнадцать лет. Она, бесспорно, была очень тихой. Он купался, много гулял, и как будто по-прежнему свежо воспринимал красоту острова, который узнал так близко. Играл на пианино, раскладывал пасьянсы, читал. Когда его приглашали в гости, он приходил и был хотя и скучноватым, но приятным собеседником. Если его забывали пригласить, он не оскорблялся. Люди ему нравились, но как-то отвлеченно, что мешало дружескому сближению. Он жил экономно, но с комфортом. И никому не был ничего должен, даже мелочи. Мне представляется, что плоть никогда особой роли в его жизни не играла, и если в первые годы у него время от времени завязывался мимолетный роман с какой-нибудь туристкой, поддавшейся романтической атмосфере, его чувства, я убежден, все время оставались под контролем. По-моему, он твердо решил оградить независимость своего духа от любых посягательств. Единственной его страстью была красота природы, и он искал радости в самом простом и естественном, в том, что жизнь предлагает всем. Возможно, вы скажете, что он вел весьма эгоистичное существование. Да, так. От него никому не было пользы, но, с другой стороны, он никому не приносил и вреда. Его занимало только собственное счастье, и, казалось, он его обрел. Мало людей знает, где искать счастья, но еще меньше находят его. Не берусь судить, был ли он глуп или мудр. Но, во всяком случае, он знал, чего хочет. Меня в нем удивляла его заурядность. Я бы тут же забыл о нем, когда бы не знал, что в некий день через десять лет, если только случайная болезнь не оборвет его жизни раньше, он должен будет сознательно проститься с миром, который так любит. И, может быть, именно мысль об этом, все время таившаяся в уголке его сознания, и объясняет тот особый жар, с каким он наслаждался каждым мгновением каждого дня.

Было бы нечестно по отношению к нему, если бы я не упомянул, что у него вовсе не было привычки рассказывать о себе. По-моему, он доверился только одному человеку — моему другу, у которого я гостил. И мне он рассказал свою историю, я уверен, только потому, что подозревал, что я ее уже знаю, а к тому же выпил в тот вечер много вина.

Время моего визита подошло к концу, и я уехал с острова. Год спустя разразилась война. В моей жизни произошли разные события, и ход ее изменился. Так что миновало тринадцать лет, прежде чем я снова попал на Капри. Мой друг вернулся туда уже довольно давно, но он больше не был богат и переехал в другой дом, где было слишком тесно, так что мне предстояло жить в отеле. Он встретил меня на пристани, и мы пообедали вместе. За обедом я спросил его, где расположен его новый дом.

— Вы его знаете, — ответил он. — Это хижина, где жил Уилсон. Я пристроил еще одну комнату. Получилось очень недурно.

Слишком много другого все эти годы занимало мои мысли, и я совершенно забыл Уилсона. Но теперь вспомнил с некоторым страхом. Десять лет, оставшиеся ему, когда я с ним познакомился, уже, наверное, давно истекли.

— Он покончил с собой, как собирался?

— Это довольно мрачная история.

План Уилсона был верным. С одним только недостатком, которого, полагаю, предусмотреть он не мог. Ему не приходило в голову, что через двадцать пять лет полного счастья в этом тихом захолустье, где ничто не нарушало безмятежности его существования, он постепенно утратит твердость характера. Воле нужны препятствия, чтобы сохранять силу. Когда ничто не идет ей наперекор, когда осуществление желаний не требует никакого напряжения, ибо желаешь ты лишь того, что можно получить, просто протянув руку, воля становится дряблой. Если все время ходить по плоскости, мышцы, необходимые для подъема в гору, атрофируются. Банально, но верно. Когда срок ренты истек, у Уилсона уже не хватало решимости сделать то, что было ценой, которую он согласился уплатить за эти долгие годы счастливой безмятежности. Насколько я могу судить по тому, что узнал в тот вечер от моего друга, а позже и от кое-кого еще, дело было не в том, что ему не достало мужества. Просто он никак не мог решиться и откладывал со дня на день.

Он прожил на острове так долго и всегда платил за все с такой пунктуальностью, что ему нетрудно было получить кредит. Никогда прежде он не брал взаймы и теперь обнаружил, что есть много людей, готовых при первой просьбе ссудить его небольшой суммой. За свою хижину он столько лет платил аккуратно, что его домохозяин, чья жена, Ассунта, по-прежнему убирала у него и стряпала, готов был несколько месяцев ничего не менять. Все поверили ему, когда он рассказал, что скончался один его родственник и он временно оказался в стесненном положении, так как не может получить причитающиеся ему деньги, пока не будут завершены необходимые юридические формальности. Таким манером он просуществовал год с небольшим. Затем местные торговцы отказали ему в кредите, и никто больше не ссужал, ему денег. Домохозяин потребовал, чтобы он освободил дом, если не заплатит задолженности до такого-то дня.

Накануне этой даты он вошел в свою крохотную спальню, закрыл дверь и окно, задернул занавески и разжег древесный уголь в жаровне. На следующий день, когда Ассунта пришла приготовить ему завтрак, она нашла его без сознания, но живого. Под кровлей гуляли сквозняки, и хотя он что-то сделал, чтобы закрыть доступ свежего воздуха в спальню, это большой роли не сыграло. Казалось даже, что в последний момент, несмотря на всю отчаянность его положения, ему не хватило целеустремленности. Уилсона доставили в больницу, и хотя некоторое время состояние его было очень тяжелым, он все-таки поправился. Но то ли от отравления угарным газом, то ли от потрясения у него помутилось в голове. Он не был сумасшедшим — во всяком случае, в такой степени, чтобы поместить его в приют для умалишенных, однако было ясно, что он не в своем рассудке.

— Я побывал у него в больнице, — сказал мой друг.— И попытался разговорить его, но он только глядел на меня каким-то странным взглядом, словно не мог вспомнить, где видел меня раньше. В постели он выглядел страшновато — недельная седая щетина на подбородке и щеках, — но если не считать странного выражения глаз, казался вполне нормальным.

— Какого странного?

— Не знаю, как точно его описать. Недоумение, растерянность. Сравнение, конечно, нелепое, но представьте себе, вы подбросили камень, а он не упал и повис в воздухе...

— Да, это может поставить в тупик.

— Ну, вот такими и были его глаза.

Решить, что делать с ним дальше, оказалось непросто. У него не было ни денег, ни возможности их заработать. Его имущество продали, но вырученных денег не хватило и на уплату его долгов. Он был англичанином, и итальянские власти не желали брать на себя ответственность за него. Английский консул в Неаполе не располагал казенными суммами для подобного случая. Конечно, его можно было бы отправить в Англию, но никто не знал, что с ним делать там. И тут Ассунта, служанка, сказала, что он много лет был хорошим хозяином и хорошим жильцом и, пока у него были деньги, всегда платил аккуратно. Так пусть спит в дровяном сарайчике при хижине, в которой живут они с мужем, и. ест с ними. Ему предложили такой выход. Понял он или нет, решить было трудно. Когда Ассунта явилась забрать его из больницы, он пошел с ней без всяких возражений. Собственной воли у него, казалось, больше не было. Она содержит его вот уже третий год.

— Условия не слишком комфортабельные, — сказал мой друг. — Они поставили ему колченогую кровать и дали пару одеял, но окошка нет, зимой там ледяной холод, а летом жарко, как в духовке. И еда убогая. Вы же знаете, как едят эти крестьяне: макароны по воскресеньям, а мясо раз в год по обещанию.

— Но как он проводит время?

— Бродит по горам. Раза два я пытался с ним повидаться. Но это бесполезно: увидев кого-нибудь, он убегает, как заяц. Ассунта иногда заходит ко мне поболтать, и я даю ей немножко денег ему на табак, но только Богу известно, что она с ними делает.

— Они обращаются с ним прилично? — спросил я.

— Ассунта, я уверен, о нем заботится. Она смотрит на него как на ребенка. Ее муж, боюсь, не слишком хорош с ним. Не думаю, чтобы он допускал какие-нибудь жестокости, но, видимо, держится с ним сурово. Заставляет таскать воду, чистить коровник, ну и так далее.

— Да, скверно, — сказал, я.

— Он сам на себя это навлек. В конце-то концов, он получил только то, что заслужил.

— Мне кажется, в целом мы все получаем то, что заслужили, — сказал я.Но все равно, это выглядит жутковато.

Два-три дня спустя мы с моим другом прогуливались по тропинке, петлявшей в маслиновой роще.

— Вон Уилсон, — внезапно сказал мой друг. Не поворачивайте головы. Вы его только напугаете. Идите прямо.

Я шел, глядя на тропинку, но уголком глаза заметил человека, спрятавшегося за стволом маслины. При нашем приближении он не шелохнулся, но я чувствовал, что он внимательно следит за нами. Едва мы прошли мимо, как сзади послышались бегущие шаги. Точно затравленный зверек, Уилсон кинулся в безопасное убежище. Больше я его не видел.

В прошлом году он умер. Эту жизнь он терпел шесть лет. Однажды утром его нашли на склоне горы. Лицо у него было мирным, словно он умер во сне. С того места, где он лежал, ему были видны Фаральони — две гигантские скалы, поднимающиеся из моря. Было полнолуние, и, наверное, он пошел туда поглядеть на них при лунном свете. Может быть, он умер, не выдержав такой красоты.